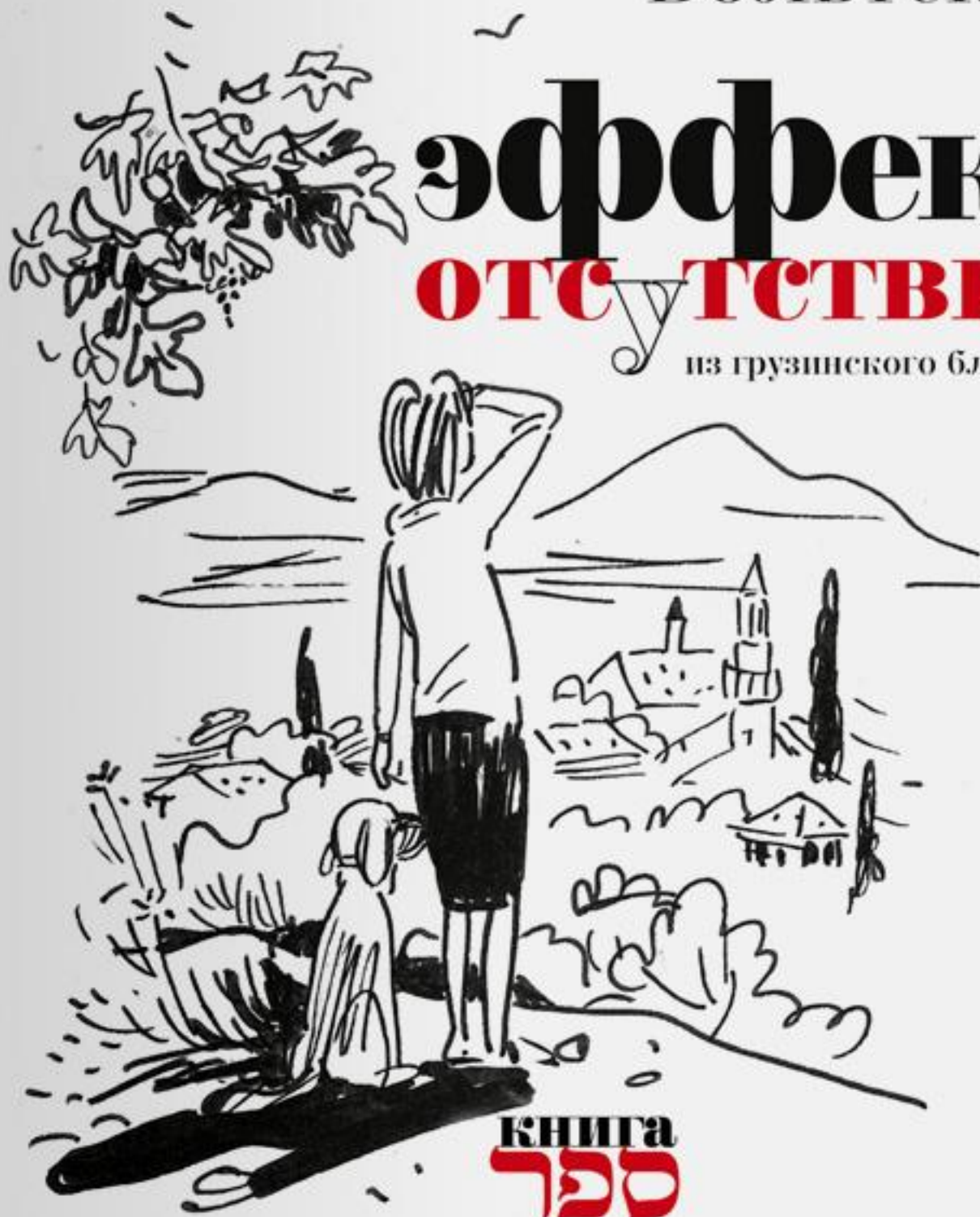




Татьяна
ВОЛЬТСКАЯ

Эффект отсутствия

из грузинского блокнота



КНИГА
ספר

Татьяна Вольтская

ЭФФЕКТ ОТСУТСТВИЯ

из грузинского блокнота

Книга прозы поэта и журналистки в одном из самых интересных жанров – автофикшн.

Книга о времени, в котором мы все живём, о «дорогах, которые мы выбираем», о Грузии, в которой сейчас живёт Татьяна, о жизни, о людях.

«Эффект отсутствия» – первое в современной литературе книга о релокации, в которой поневоле оказались сотни тысяч людей...

Татьяна Вольтская объявлена в России «иностранным агентом».

*“Дома нет места свободной русской речи,
она может раздаваться инде,
если только ее время пришло.*

Открытая, вольная речь — великое дело;
без вольной речи — нет вольного человека.

Недаром за нее люди дают жизнь,
оставляют отечество, бросают достояние.
Открытое слово — торжественное признание,
переход в действие.

Время печатать по-русски вне России, кажется
нам, пришло”.

*Искандер (Александр Герцен)
Лондон, 21 февраля 1853.*

Татьяна Вольтская

Эффект отсутствия. Из грузинского блокнота

Проект “Вольное книгопечатание”

Издательство “Книга Сефер”, Израиль, 2023

<https://www.knigasefer.com/volnoe-knigopechatanie>
knigasefer2002@gmail.com

(972) 502423452

Рисунки Евгении Двоскиной

Фотографии Дмитрия Брикмана

Издатель Виталий Кабаков

Редактор Алла Борисова

Макет и дизайн серии Андрея Бондаренко

Верстка и оформление Юлии Дозорец

ISBN 978-965-7288-61-0

© Татьяна Вольтская, текст, 2023

© Дмитрий Брикман, фотографии из альбома «Глаза
Грузии», 2023

© Евгения Двоскина, рисунки, 2023

© Андрей Бондаренко, макет, 2023

© Виталий Кабаков, издание, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Грузинский блокнот.....	15
Черемуха.....	19
Черный дрозд	22
Ветер.....	27
Сашина Бабушка	31
Dom	34
Вертикали и горизонталы	40
Груша или дуб?	46
Ода грузинскому балкону	53
Под “Железной девой”	59
“Палки-веники”	64
Обнять упавшего	69
Последний звонок	74
А вдруг это измена?.....	78
Зеркало и прихватка	85
Грибоедов.....	93
“Земли девической”	100

Улитка	104
Светлана Ивановна	109
Свобода и хачапури	116
Эффект отсутствия	123
Что же вы не скинули своего Путина?	125
Марат	129
Никабы	133
Динара и Гульнара	136
Медный тазик	139
“Амаркорд”!	145
Абрикосы	151
Не привыкать!	156
Поэты и война	159
Другие	167
Ворзель	170
Огни на горе	175
Брюки и шорты	181
Остров счастья	187
Вздохи побежденных	191

В зеркале гла́за	196
“Стоїть явір”	203
Кузнечик и цикада	206
Герои	212
Армия Наполеона.....	218
Хотел отвести удар	222
Корова на дороге	225
Тамада	230
Аргонавты и свинки.....	235
Антиготика	238
Лимонный дедушка	241
Стена и вода.....	245
Кабанчик.....	249
Икона.....	254
Камень и лед.....	259
Ангелы и пихты	264
Танцуют все	271
Кто виноват.....	274
На краю Пьяццы.....	280

Пора.....	285
Не плачь.....	295
Ира и Артем.....	300
Бульвар	305
Лодка Ра	310
Яблоко, сливы!.....	313
Подводное царство	316
Где вы были 7 месяцев?	320
Пусть они будут живы	324
Дмитрий, Который Помог Зеку.....	327
Наташа и ее дары.....	333
Самеба	336
Лена, Сосо, Луна	340
Мёд и смерть	344
Украденная осень	355
Право на жизнь имеют только умные?.....	357
Детские вопросы	360
Пока длится погоня	363
Ночной пловец.....	366

В поисках утраченной осени	368
Батумские ливни	376
День чистых штанов.....	380
Шакалы поют	386
Зеленский – это Фродо	391
Звияд.....	395
“Совесть моя украинка”	404
Тут у вас ничего не сдаётся?	408
Медный тазик	412
Читаем стихи	416
Нашла!.....	418
Потоп.....	424
Бук.....	429
Обретенная осень	432
Лариса поет.....	435
Смрадное божество.....	437
Чугурети	440
На новом месте	443
Жалеть или не жалеть.....	448

Слово из льдинок.....	452
Розовые фламинго	456
Отец Микаэль	462
Марани	468
Аня и Юля	471
На Авлабар	475
Свобода	479
Ихтис	483
“Кто сохранит душу свою...”	490
День рождения.....	493
Скоро Рождество	499
Город любви	504
Черное платье.....	511
Игрушки	519
К нам едет Дима Быков.....	521
Дезертирка.....	526
Новый год.....	530
День судьбы.....	539
Грузинское Рождество.....	546

Доктор на ослике	549
Надо что-то делать	554
Как я буду без тебя?	559
Огненная поэма	563
А как же эволюция?	568
Лобио	572
“На вас не нападали. Вы – напали”	577
Ан, бан, ган... ..	580
Я хочу, чтобы она была	584
Про куклу	588
В Петербурге снег	592
У Нино и Давида	595
Годовщина войны	601
Комплекс Адама	604
Анатолий Белый	608
Ад близко	613
Протесты	621
Дима Брикман и Экклесиаст	624
Махи на балконе	631

Мананина пальма	636
Тупая	641
Пощечина	645
Симон Ушаков	652
Две Арагви	658
Споем деревенскую.....	666
И опять о евреях.....	675
Прошлая Пасха.....	679
Верхний Ларс	683
Красное яйцо	690
Ровно год.....	697
Дмитрий Брикман	
Глаза Грузии	
Послесловие	707

* * *

Сбивчивых улиц развинченный шаг,
Розы, балконное кружево.
Крылья раскрыла, неслышно дыша,
Пёстрая бабочка Грузии.

Дай разглядеть мелколиственный сор,
Рынка весёлое олово,
Дай различить хрипловатый узор
Нежного южного говора.

Дай ужаснуться – куда ты в огонь,
Глупая, вспыхнешь – и нет тебя!
Прошлого века телячий вагон
Всё ещё тащится нехотя,

Полный притихших просроченных тайн,
Хищного стука и клёкота.
Мне-то не спрыгнуть, а ты улетай –
Пленная, сонная, лёгкая.

Грузинский блокнот

Трое мальчишек гоняют длинными бамбуковыми палками пластмассовое ведро. Когда надоедает, начинают фехтовать. Бамбуковые палки – из ботанического сада, который совсем рядом с этой улицей, по ту сторону горы. Улица долго взбирается на вершину, и потом, как будто выдохнув, круто роняет себя вниз. Запинается о маленькую церковь и за поворотом движется уже чуть степеннее.

Тбилисские дети играют на улицах. Не с мамами и бабушками на детских площадках и в парках, а сами, одни. Раз – и вынырнет из двора мелкая стайка, обгонит тебя вприпрыжку, громко споря и крича, – и скроется в другом дворике, за веревкой с танцующими на ветру брюками и рубашками. Свернешь за угол – а там другая стайка играет в мяч у стенки, хлопает в ладоши, прыгает – в Петербурге такого давно не встретишь. Я смотрю на эти стайки и радуюсь –

они общаются живьем, а не в телефоне. Вспоминаю – не столько свое детство, сколько мамины рассказы о ее послевоенных дворах, о мячиках и скакалках, которыми она владела виртуозно – я ей в подметки не годилась.

При слове “послевоенных” внутри заныло – когда-то мы сможем так сказать о себе. Войны не видно – но она всюду, ни о чем, кроме нее, думать нельзя. Все мои друзья произносят одну и ту же фразу: не верится, что это правда, хочется проснуться.

* * *

Я проснулась в другой стране. Не люблю отпускные отчеты, фотографии на фоне, не люблю себя в роли туриста. Есть в этом что-то недолжное, тайный разврат, вуайеризм – и на то посмотрел, и этим наслаждался. Сьюзен Зонтаг называла это присвоением увиденного – я здесь был, это мое. Такие снимки – сродни вы-

царапанному на скамейке “Здесь был Вася”. В отпуске мне всегда было немножко стыдно – вот, приехала, слоняюсь, а люди здесь живут, и меня с ними ничего не связывает, ни прошлое, ни настоящее, зачем я здесь?

Но в Грузии я не в отпуске. Я убежала сюда от безумного диктатора, который сейчас от моего имени разрушает чужую страну и, несомненно, разрушит мою. И я подумала – если уж судьба загнала меня сюда, если этот край дал мне приют, то я попробую быть внимательной и благодарной. Буду писать Грузинский дневник. Понимаю, что название не оригинально, но точнее найти трудно: ведь дневник – это взгляд и внутрь себя, и вокруг, где глаза постороннего иногда замечают то, на что местные уже не смотрят, поскольку оно и так понятно и привычно.



Черемуха

На прямых улицах дома наряднее, чем на кривых, но меня влекут именно кривые – ноги сами сворачивают туда, где один переулок рассыпается гроздью, как будто много рук сразу вцепилось в гору и прижало ее к себе. Главное – удержаться на склоне, не ослабить хватку, не сползти, в ход идет все – ржавые железные листы подпирают забор, ветхая лестница держится на честном слове, деревянная галерея перекосилась, так что гримаса расползается по всей постройке, половина окна забита фанерой. Бедность. Когда-то эта галерея была легкой и изящной – пока не одряхлела и не обрюзгла. И окно щеголяло наличником, пока он не вытерся, как марля, и фигурный кирпичный карниз подводил черту под вторым этажом, пока не превратился в труху.

Бедность. Какой-то домик еще старается держаться, делая вид, что не все пропало, а ка-

кой-то уже перестал стыдиться и безнадежно вывернул наружу все свои дыры, обрывки и потроха. А какой-то вполне благополучен – богатые хозяева облизали его со всех сторон, отреставрировали старые массивные ворота, построили стенку вокруг палисадника, отгородившись от соседних развалин. За поворотом зеленый дворик, смоковница, белье в три ряда. А там опять покосившаяся крыша, вывернутый живот балкона, ржавая решетка на окне. Но все вместе так прекрасно, что нет никаких сил уйти – и ты все кружишь и кружишь по улочкам, судорожно обнимающим гору: оторваться – значит умереть.

* * *

Все цветет. Ветки и даже стволы каких-то чудных незнакомых деревьев облеплены мелкими цветами, розовыми и фиолетовыми. На одной улице набредаем на деревья в белых

гроздьях, волна запаха заставляет закрыть глаза и сглотнуть комок в горле – черемуха! Наверное, в Петербурге она тоже скоро зацветет. Но Ваня говорит – ты что, это же акация. Ваня, мой старший сын, – биолог, его не проведешь.

Внизу, под самым нашим домом – сад, разбитый вокруг фуникулера, со всякими затеями для туристов. Наверное, когда деревья подрастут, он будет неплох, но пока пустоват и немного похож на Зарядье, только без этих бессмысленных холмов – гор здесь и так хватает. Мимо проходят высокий парень и девушка в синей куртке, девушка указывает куда-то рукой и говорит: “У нас в Киеве тоже такое было” – и снова к горлу подкатывает комок.

Черный дрозд

Мимо книжных развалов пройти невозможно. На улице Руставели их несколько. Я, естественно, склоняюсь над кучкой русских книг. Вот “Грузинская поэзия”, тяжеленный том 1956 года, массивный, как сталинский Горсовет. А рядом – пестрые кленовые листки, тоненькие журнальчики начала прошлого века. Открываю один наугад – “10 изобретений 1913 года”. Ну-ка, ну-ка. Из десяти запомнила шесть: застежка-молния, кроссворд, одномоторный самолет, педикюр, ламинат и целлофан. Ничего себе – почти все не просто дожило до наших дней, но стало частью быта. Другое дело, что хлеб и селедку еще десятилетиями заворачивали в вощеную бумагу, да и куртки на молниях появились совсем не сразу, по крайней мере, у нас. Ох, и “Грузинскую поэзию” купила бы, и этот тоненький журнальчик – да куда бездомному книги? С сожалением кладу назад, на лоток под

огромным платаном. Моя осиротевшая библиотека замерла в Петербурге на старых дедушкиных стеллажах, новую собирать незачем и негде.

* * *

Авлабар нашинкован на мелкие улочки. На одной, покрупнее, – полуразрушенная церковь – передняя часть еще стоит, а стена с апсидой обвалилась, в огромном полукруглом зеве торчат акации. Человек роется в мусорном баке – зрелище, до боли знакомое по нашей Петроградской стороне, рядом выжидательно переступает большая бездомная собака. Не выдерживаю и достаю телефон – трагическая жанровая сцена завораживает. Мимо идет человек с пучком тоненьких церковных свечек в руках. Заметив, что я снимаю, укоризненно оглядывается, потом еще и еще – видимо, думает, что я, равнодушный пришелец, радуюсь чужой бедности и разрухе. Я

отвечаю на его взгляд, мне хочется, чтобы он понял, что я не злорадствую, а сокрушаюсь об этом заброшенном храме, вспоминаю, сколько таких же, пустых и одичавших, осталось в России. Но он вряд ли понимает – наверное, продолжает внутренне негодовать.

Неохотно, с чувством досады и недосказанности, сворачиваю в переулок – иду, как на мед, на тихий колокольный звон. Колокол подманивает меня к маленькой церкви в небольшом саду прямо над обрывом. Захожу. Несколько женщин в темном сидят на скамейках у стен, ждут вечерню. Покупаю две свечки, зажигаю, ставлю перед образом Богородицы. Тоненькая молодая монахиня на развевающихся черных крыльях летит в сторону алтаря. Начинается служба, монотонная чужая речь задерживает занавеску между мною и смыслом – казалось бы, таким знакомым. Выхожу на улицу. На той стороне садика – еще одно здание из таких же крупных желтоватых камней, что и церковь, сту-

пеньки ведут вниз, к надписи по-английски: “Do not enter”, в дверях стоит монахиня. Да понятно, понятно – сюда не войти.

* * *

Целый день работаю перед открытым окном. Передо мной кусты, в кустах поет черный дрозд. Он даже не знает, какое утешение для меня – его нежный текучий голос. Черный дрозд пел у нас даче в первый ковидный год, когда мы самоизолировались там на целых 8 месяцев. Это была удивительная весна – первая в жизни, увиденная во всех подробностях. Вот на поля больше не стелют свежих простыней, снег слеживается, темнеет, сереет. Вот лед на канавах становится желтым и ноздреватым, вот под ним уже чернеет вода. Вот ольшаники у дороги подергиваются красноватыми сережками, а потом и редкие березы одеваются дымкой, но главное, конечно, елки. Ходишь мимо них день за днем, и

вдруг ветки начинают пульсировать багровыми огоньками – это будущие шишки. Они растут, вытягиваются – и не свисают вниз, а торчат вверх, блестящие, пунцовые, с прозеленью, каждая ветка – маленький канделябр. А вернешься домой – на трубе сидит черный дрозд, и его голос льется прямо в тебя, и ты понимаешь, что это счастье.

Сейчас перед моим окном река, а за ней желтая крепость поднимается на гору уступами. Вечерами она вся в огнях. Но пока поет дрозд в ближних кустах, между этой горой и мною как будто висят незримо черные елки, деревенская дорога в глубоких колеях, прозрачная сетка-рабица, яркий апрельский снег, то и дело круживший той весной перед нашими окнами, чтобы тут же растаять.

Ветер

Мы живем на улице Винный Подъем, в старом купеческом доме, где наверху, на лестнице еще сохранились росписи. Лестница выходит прямо на балкон, с которого виден весь правый берег. Этой весной в Тбилиси очень ветрено, вчера вообще был ураган, и лист железа на крыше веранды, где спит Ваня, грохотал всю ночь. Те, кто, приехали сюда раньше нас, уже успели узнать, что ветер – это хорошо: говорят, когда он стихнет, начнется жара.

Окошко нашей кухни прилегает к круглой башенной стене, из которой временами возникает серый полосатый кот, крутится на подоконнике и трется о решетку. Дальше видна церковь XIII века: крепкая, широкоплечая. Подойдешь – зеленоватая пена резьбы исчезает на глазах, впитывается в камень. Грузинские храмы строили немногословные художники, державшие в голове главный замысел, крест – и

отсекавшие все лишнее. Крест, квадрат, куб, простые формы, передающие суть, которую не должно размывать обилие украшений. Так большой писатель отсекает от фразы все эти “как будто, наверно, собственно говоря”, обруба-ет виляющие хвосты придаточных предложений – и фраза обретает свободное дыхание и ясную форму. Тонким узором обведено окно, полоса резьбы стекает по колонне, взбегаёт по апсиде, завершается крестом. Все. Камень – желтова-тый с прозеленью, фисташковый, резьба стро-гая, местами стершаяся от времени, оплывшая, уходящая, как волна в песок.

На задней стене и апсиде выцарапаны надписи – имя, фамилия, год: 1918, 1919, 1920. В царское время за храмом была тюрьма, исполь-зованная по назначению и большевиками, и ко-гда узников выводили на прогулку, они оставля-ли о себе весточку.

* * *

Историю про тюрьму рассказала мне Инна Кулишова, живущая здесь, влюбленная в Тбилиси. Мы встретились при том самом ураганном ветре, который чуть не сдул нашу крышу, на шее у Инны трепались желто-синие ленточки, желто-синяя маска сползла на подбородок – ковидные ограничения все еще действуют в метро. Ветер так разорял и путал волосы, что я натянула капюшон, а Инна тут же стала рассказывать, и это тоже было, как ветер: и что за героев-азовцев сердце болит – был как раз конец эпопеи на Азовстали, и что бабушка когда-то приехала в Тбилиси из Киева, и что – нет, не холодно, и никогда не бывает холодно, и что собак и кошек бродячих ужасно жалко.

В сумке у Инны два полиэтиленовых мешка – с собачьим и кошачьим кормом. Завидев кошку или собаку, Инна прерывает рассказ о грузинских царях, царицах, храмах и дворцах и начинает ворковать – ой, ты моя девочка (маль-

чик, киска, собаченька), иди скорее, я тебе вот сюда положу – а рука уже в сумке, в правильном мешке, и горсть коричневых кругляшек высыпается на ступеньку, в уголок, на приступочку – и снова возвращаются терпеливые цари, царицы и храмы, чтобы снова отступить перед следующей кошкой или собакой.

А еще Инна фотографирует украинские флаги, висящие на окнах и балконах, и обижается, что приехавшие в Тбилиси русские не интересуются ничем грузинским. Я виновато киваю – сама ничего не знаю о приютившей меня стране – и потому жадно впитываю то, что рассказывают мне тбилисцы, вызвавшие хотя немного рассеять мрак моего невежества. Пока у меня в голове густой туман, в котором плавает клочок драгоценной земли, расшитой розами и виноградом, который накрывают волна за волной кровавые нашествия – персы, арабы, византийцы, опять арабы, монголы, турки, русские, и где-то высоко, в светящемся облаке, Грибоедов висит на губах у Нины.

Сашина Бабушка

Дом, где он повис на ее губах, показал нам всезнающий Саша Сватиков. Он родился в Тбилиси, и перед тем как рассказать о Грибоедове, об овраге, темневшем на месте Эриванской площади, об Ага-Мухаммед хане, разрушившем Тифлис, о сгоревшем театре, которым восхищался Дюма, и от которого остались одни бронзовые сфинксы, о гостинице, где останавливался или не останавливался Лермонтов, о Доме писателей на улице Мачабели, где застрелился Паоло Яшвили, о Тициане Табидзе, убитом в 37-ом, о доме Бери и о чекистах, выгонявших тбилисцев из приглянувшихся квартир, о маскароне “Всепожирающее богатство” и еще о тысяче вещей, – перед всем этим Саша Сватиков рассказал нам о своей бабушке, погибавшей от голода в 1930 году в Ростовской области. В ее деревне, по рассказам Саши, был грузинский милиционер, который, видя, как люди пухнут и умирают,

заметил, что Грузии не знают слова “голод”. И Сашина бабушка, подхватив Сашину маленькую маму, рванула в Грузию и вырыла землянку на окраине какой-то деревни, кое-как перебилась с помощью местных, жалевших ее и дочку, а потом заработала денег на швейную машинку “Зингер” и стала обшивать сначала эту деревню, а потом и не только эту.

Как я ни старалась понять, где добыла бабушка первоначальный капитал на машинку, Саша не знал. Не зря, видно, ее раскулачили – была-таки в ней деловая жилка – бабушка, по словам Саши, перебралась в Тбилиси, купила сначала маленький домик, а потом домик побольше, и все это с тремя классами церковно-приходской школы. Думаю, Тбилиси должен быть благосклонен к ее памяти – ее внук столько знает об этом городе и так страстно о нем рассказывает – как знать, может, такими путями, через два поколения, возвращается грузинской земле благодарность за спасенные жизни.

Саша, кстати, рассказал нам, что на нашу улицу раньше привозили вино и там же, наверху, его разливали, поэтому тут было полно духанов, так что винный подъем – восхождение от духана к духану – был непростым и мог закончиться на карачках. Здесь и сейчас сохранилась пара винных лавочек, где можно просто сесть и выпить. Улица начинается там, где кончается “плачущая гора” – скалы, поросшие длинношерстными мхами и лишайниками, сквозь которые сочатся и текут длинные тонкие ручьи. Ваня никогда не может спокойно пройти мимо, трогает мокрые зеленые пряди и уважительно бормочет латинские названия. Сразу за ручьями – дверка, перед дверкой столик, за столиком – хозяин, один или с гостем, но всегда с бокалом вина. Дверка распахнута в уютную щель с блуждающими багровыми огоньками – это светятся ряды темных бутылок. На окне с частым переплетом – блюдо гранатов. Хозяин приглашает рукой – заходите! Мы улыбаемся и качаем головами.

Dom

Прямо перед нашей дверью крошечная соседняя лавочка выставила на тротуаре уличную витринку с магнитиками для холодильника. На магнитиках – все, чем славна Грузия: пузатая винная бутылка, тарелка хинкали, профиль Сталина, грузинский алфавит, гроздь винограда, витязь, поборяющий тигра. В самой лавочке продаются открытки, сувениры и носки: на одних носках хинкали, на других Сталин. С утра магнитиков со Сталиным было два, к вечеру остался один – это личико все еще пользуется спросом.

Пошлость ширпотреба – в уравниловке и штамповке: нежные мешочки с мясом и бульоном равноценны голове тирана, не пощадившего ни чужих краев, ни родных, убившего одного из лучших поэтов Грузии, пузатая бутылка равняется с героем великого эпоса, а дешевые открытки перетирают любые пейзажи в жерновах тиража. Путешественник – фигура штучная, так

сказать, хэнд мэйд, его в этих лавчонках не увидишь. А турист подобен магнитикам и носкам, он – продукт массового производства, так что они с легкостью находят друг друга.

* * *

Наше временное пристанище рассчитано на тех, кто приехал гулять и отдыхать, и для работы пришлось приспособить круглый стеклянный столик, на котором едва помещается компьютер, а чтобы влез коврик для мышки, надо сдвинуть его наверх. Ютясь на этом пятачке, как столпник, вспоминаю свой письменный стол – огромный, на фигурных ножках, папино наследство. Сверху он черный, как вспаханная земля, и на ней белеют мои бумаги, лампа, мраморная пепельница-крокодил с отбитой лапой, оставшаяся от бабушки. В детстве средний ящик стола был полон таинственных сокровищ – логарифмических линеек, плоских упаковок с грифе-

лями KOH-I-NOOR, циркулей, транспортиров, тетрадей с непонятными чертежами и даже сигаретных пачек. Папа не курил, но, говорят, кто-то привез ему баснословные в наших краях Kent и Marlboro, и они так и лежали в уголке, поблескивая – пришельцы в нарядных скафандрах.

Поднимая глаза от того огромного стола, я видела узенький питерский двор-колодец с куском неба над котельной, поднимая глаза от этого крошечного столика, я вижу воздушное кружево чужого города, накинутое на гору. Некоторые его ниточки мне уже знакомы. Если перейти мост и подняться направо, а потом свернуть налево – круто вверх, то попадешь в бывший еврейский квартал, где вместо улочек – узкие лестницы от дома к дому: говорят, в средние века это были тропинки. Одна из таких тропинок, мощенных брусчаткой, приводит на улочку Бетлеме, где питерские активисты из проектов Frame и Emigration for action месяц назад организовали пространство Dom – с маленьким ба-

ром и коворкингом, залом для выступлений, а главное, уютным крыльцом, на котором все курят и болтают. Мы уже побывали тут на выступлениях Льва Пономарева и Тихона Дзядко, и оба раза люди сидели на столах и толпились в дверях. Сегодня тут будет большой аукцион – художники уже принесли свои работы, деньги пойдут украинским беженцам.

Здесь всегда встретишь кого-то знакомого – то питерских журналистов, то преподавателей, которых попросили из университетов из-за их неудобных взглядов, то студентов, в первые дни войны вырванных запаниковавшими родителями из вузов, куда было так трудно поступить, и теперь не очень понимающими, что делать. Высокое крыльцо слушает рассказы о баснословных ценах на жилье – еще бы, столько русских вдруг понаехало, и об отсутствии работы. Где-то, говорят, живет припеваючи внушительное сообщество русских айтишников – но в это пространство они не ходят, в России они привыкли

к модным барам, и в Грузии их расстраивает только одно – дороговизна коктейлей. В Dom приходит публика победнее – безработная молодежь, волонтеры всех мастей, журналисты, работающие удаленно, киношники, удивляющиеся, что даже рекламные ролики никому не нужны – как-то все здесь больше привыкли к сарафанному радио, а не к новомодной раскрутке. Два молодых оператора растерянно чешут в затылке – никому ничего не надо, непонятно, как тут живут, у нас так было лет 15 назад...

Я бы сказала, даже не 15 – спускаясь в подземный переход, чувствую, что попала обратно в 90-е – так махрово цветет пестрое барахло, развешенное вдоль стен, так браво стоят шеренги манекенов в лосинах, так старательно мужик, сидя на грязных ступеньках, надувает длинные разноцветные шарики и потом сворачивает из них лошадок и собачек. Сколько подземных переходов – столько тропических лесов из платьев, халатов, футболок, трусов, платков, столиков

с бижутерией, батарейками, часами, темными очками – как будто все это долго томилось где-то в темных пещерах, и вдруг хлынуло на свет из голубых клеенчатых сумок и затопило все вокруг.

Вертикали и горизонтали

На церковной стене лежит белый алабай. Первый раз мы увидели его с Инной Кулишовой – он шел за нами по улице, был тут же ею замечен, обласкан, наделен двумя горстями собачьего корма и при ближайшем рассмотрении оказался алабайкой. Потом я еще много раз видела его, то есть ее на Авлабаре, в самом туристическом месте, посреди кафе и сувенирных лавочек, но чаще всего – на невысокой стене, отделяющей от улицы маленькую церковь. Инна успела мне рассказать, что никакая она не старинная, построена совсем недавно – и я еще раз подивилась, как бережно грузины относятся к своей традиции: крошечный храм среди мелких особнячков, теплый желтоватый камень, строгая изящная резьба – Господу не нужно много, чтобы понять, как ты к Нему относишься. Кажется, этот новый храм был тут 700 лет назад, а может, 800, и белая алабайка так же величе-

ственно лежала на низкой широкой стене, философски поглядывая на туристов, как на медленно текущие дни.

* * *

Тяжело ногам, привыкшим к плоским питерским мостовым, договариваться с тбилискими горками. В голове твердое правило – земля ровная, ведет себя смирно и никуда не девается, и вдруг – бац! – она встает дыбом. Умом ты понимаешь, что так оно и должно быть, тут тебе не ровное болото, да и вон как красиво взмывает вверх брусчатка с платанами – но в душе глухой ропот: всегда идешь себе и не замечаешь, что идешь, а тут...

Сейчас мы идем – то есть взбираемся – к булочной, которую облюбовали на улице Лермонтова. Хрустящий лаваш, всплывающий в руки из окошка в подвале, прекрасен, но по круглому черному хлебу из “Вольчека”, на который мы

подсели в последние несколько лет, мы отчаянно скучаем, потому и поднимаемся упорно по жаре в небольшую хлебную лавочку. Девушка в окошке не понимает ни по-русски, ни по-английски, и мы тычем руками по воздуху – нет, не тот, не тот, да-да, вот этот – а потом снова карабкаемся вверх по синеватой брусчатке.

Потому что не только дорога среди плоских полей затягивает все дальше и дальше, но и подъем влечет к преодолению себя, наливая свинцом ноги и убыстряя сердце – как будто в предчувствии встречи.

От угла движения по поверхности зависит угол зрения на мир. Плоскость луга, вертикаль леса – жизнь больше не существует в этих координатах, вместо них – сложная система ломаных линий. Земля, всегда послушно лежавшая под ногами, вырывается и встает ребром – как вопрос: куда ты идешь и зачем.

* * *

Когда мы сюда приехали, я припарковала машину на плоской площадке перед заброшенным домом, а потом переставила ее на улочке, идущей круто вниз и впадающей в наш Винный подъем. Она стоит тут уже больше двух недель – по городу мы передвигаемся пешком, в крайнем случае, на метро или на автобусе. Но сегодня мы приглашены в гости – к друзьям наших московских друзей. Они живут на другом конце города, откуда мы надеемся попасть в дачные места – Ваня мечтает увидеть маковые поля – поэтому мы поедем на машине. Я сжимаю в руке ключи с нехорошим чувством – я помню, чего мне стоило много лет назад тронуться с места на крутой улочке Иерусалима, да еще на не очень послушной арендованной тачке. Теперь я с тоской смотрю на бежевый нос чужой машины – примерно в метре от нас, но гораздо ниже. Ваня сидит рядом со мной, держа в руках коробку экле-

ров, и не разделяет моей тоски – он еще только собирается научиться водить машину. Жарко. Я включаю зажигание, но вместо того чтобы изящно вильнуть влево и выехать на дорогу, делаю опасный рывок к носу бежевой машины. Вторая попытка – второй рывок.

Я покрываюсь холодным потом и выключаю мотор. Ваня возмущен – ты что, у тебя же 20 лет стажа! – Да, и 20 лет езды по городу, плоскому, как тарелка. В Иерусалиме меня спас водитель, ехавший за мной, – быстро сел на мое место и показал, что делать. И я иду вниз, в ближний отель – поискать, не поможет ли кто-нибудь. Хозяйка громко зовет соседа из сувенирной лавки. Поняв, в чем дело, тот оживает, но просит подождать – к нему как раз зашли покупатели. Я смотрю на туристов, разглядывающих открытки со снежными горами и носки с хинкали и Сталиным, оглядываюсь на Ваню, застывшего у машины с эклерами в руках, и думаю, как непросто будет овладеть премудро-

стью езды на здешних горках. Наконец, туристы уходят, хозяин сувениров поднимается к нашей машине и без видимых усилий огибает бежевый нос Тойоты, в который я бы обязательно врезалась, если бы не он.

Груша или дуб?

До нужного места мы доезжаем без приключений. К нам навстречу выходит невысокая изящная женщина с очень короткой стрижкой под мальчика, за зеленой ка литкой рвутся и лают два бархатных бигля, им не терпится поскорее обнять нас и прижать к сердцу, что они и делают, как только мы оказываемся в маленьком садике – осколке бывшей деревни, превратившейся в дорогой городской район. Дом Наны и Котэ как будто вырезан из города невидимыми ножницами – стеклянная стена выходит в сад со смоковницей, инжиром, хурмой, зеленая ограда и две бетонные стены соседних домов отделяют его от проспекта с серыми многоэтажками.

Мне нравится грузинский акцент – русские слова как будто смотрятся в речку – вода течет, гласные чуть колеблются и растягиваются, поднимают брови: ах, вот мы какие, оказывается.

Нана рассказывает о своем доме – красивом, с разноцветными стенами, полном подарков друзей-художников, об этих друзьях, о бывшем президенте Михаиле Саакашвили, о страхе перед Россией. О чем бы она ни говорила – слыша этот голос, глядя в это лицо, с первой минуты понимаешь: это свои. Котэ рассказывает что-то смешное – высокий ироничный человек, всегда улыбающийся, в выцветшей кепке, как будто слившейся с головой. На столе желтое вино, теплый хачапури, сделанный по особенному Наниному рецепту, с тархуном, и клубника, политая сливками.

Нанин голос – дверка, приоткрытая в высокий грузинский мир – красок, мыслей, идей, которыми дышат люди ее круга здесь и сейчас. Я пока ничего о нем не знаю, но не сомневаюсь, что он прекрасен.

Нана говорит, что с 24 февраля не может больше ни читать книги, ни смотреть фильмы – ловит только бесконечные новости из Украины,

не может понять, как же дошло до такой страшной войны, живет, как во сне. Я смотрю на нее – как будто смотрюсь в зеркало, киваю – да-да, и мы так же, и я ничего не читаю, кроме новостей.

* * *

Ехать по серпантину днем – это просто радость. Нет, конечно, я в постоянном напряжении – забудешь переключить скорость, и машина не хочет подниматься в гору, но после ночной военно-грузинской дороги, по которой я мчалась, вырвавшись из лап пограничных фээсбэшников, это просто детская забава. Там – сплошные ямы, выбоины, туннели с лужами, фуры, лежащие на боку над пропастью, а тут – благодатное солнце, облака и рядом Нана: вот с этой горы, видите, сошел страшный оползень и затопил зоопарк, так что бегемоты по улицам ходили, теперь тут построили укрепление, но разве это защита? А вон тех домов на склонах не должно

быть, раньше в таких опасных местах не строили, а вот в этой деревне прошло все детство.

На обочинах попадаются стайки темно-красных маков. Проехав еще немного, мы выходим из машины на луг, но маков на нем нет – ни бутонов, ни отцветших коробочек, ничего. Следующая остановка – пологий луг с большой бетонной цистерной, из которой вытекает вода, но и тут нет маков. Правда, мы их уже почти не ищем – такая красота вокруг. Садимся на землю позади цистерны и смотрим на горы, струящиеся вниз мягкими зелеными складками. Ваня ходит вокруг, ложится на землю, фотографирует цветы и травки.

– Я больше всего люблю небо, смотрите, оно совсем рядом, – говорит Нана.

Следующий луг еще красивее – про маки мы давно забыли. Насмотревшись на долину, поворачиваемся к машине. Она стоит далеко у дороги, и на нее надвигается огромное стадо овец в сопровождении конных и пеших пастухов, трех

ослов и огромных собак. Хорошо бы уехать до того, как нас зальет эта грязно-желтая река – но мы не успеваем. Зато рассматриваем всю эту роскошь вблизи. Впереди стада идут козлы с высоченными рогами, замыкают шествие спокойные молчаливые собаки. У всех овец на спинах или на лбу – синие, зеленые, розовые пятна, пастух объясняет Нане, что по этим пятнам хозяева узнают своих. Из “Газели”, крытой брезентом, раздается блеянье, пастух откидывает полог – там козы, овцы и много маленьких пятнистых ягнят. Ослы при ближайшем рассмотрении – какие-то разнокалиберные: один большой, другой поменьше, а третий совсем маленький, но зато с такой длинной коричневой шерстью, что Ваня сомневается – не мамонтенок ли это.

За большим стадом идет еще одно, поменьше, посреди овец плавно качается на лошади мальчик лет десяти. Овцы, честно говоря, довольно неухоженные, со свалявшейся шерстью, и Нана укоризненно качает головой – бед-

ные грязные грузинские овцы! И правда, где-нибудь на голландских или английских лугах катаются белоснежные овечьи стада, а на этих жалко смотреть – как и на российских, впрочем.

Мы садимся в машину и долго пробираемся в бляющих волнах, но пастухи очень ловко сгоняют овец на другую сторону дороги. Походив по сосновому лесу, посмотрев на сливу в розовом цвету и на коров, бродящих по соседней горе, поворачиваем назад. Здесь то и дело вспыхивают цветущие яблони и сливы – внизу они давно отцвели, а тут гораздо прохладнее, и все только-только распускается. Овечьи стада уже сошли с дороги и пасутся на лугу. Ваня замечает поляны с большими дубами и предлагает выйти. В глубине стоит мощное цветущее дерево, мы не верим глазам – таких гигантских яблонь просто не бывает! Но цветы невозможно спутать – это все-таки яблоня. Посреди луга – огромный раскидистый дуб, что называется, поперек себя шире. Подходим – а на нем белые соцветия, да и

листья совсем не дубовые. Ваня внимательно исследует то и другое – и могучий дуб оказывается грушей. Это невероятно – вспоминаются легенды о великанах и троллях. Дерево забралось в горы, обрело свободу и покой – и вымахало величиной с дуб.

Под “дубами” полно желтых примул. Ваня становится перед ними на колени, ложится, фотографирует, заглядывая им в лицо. Мы смотрим вниз, в круглую чашу с пушистыми лощинами и перелесками. Нана глубоко вдыхает побледневшее небо. В голове, из которой улетело все, что еще недавно скреблось, шуршало и гремело внизу, тихо плавают два слова – благословенная страна, но я молчу – то, что мы видим перед собою, не нуждается в словах.

Ода грузинскому балкону

Мне хочется написать оду грузинскому балкону. Это поразительное явление, заставляющее меня бесконечно кружить по тбилисским улочкам, и восклицать, и вздыхать, и качать головой, и разводить руками. Уже устала, и есть хочется, но вот новое сооружение с резными балясинами и грубыми подпорками, растущими из стены, повисает перед моим носом, как морковка перед осликом, и я иду к нему, улыбаясь, как пьяная, а за ним еще один, застекленный, наставил на меня свой мерцающий фасеточный глаз гипнотизера, а за ним третий, покосившийся в медленном танце, а дальше целая галерея окружает дом – кружевное некрашеное дерево, ветхое серебро.

В это кружево как будто вплетены все, кто сидел на этих балконах, когда спадала дневная жара, смотрел на прохожих внизу, перекрикивался с соседями. Балконы кажутся мне фантастическими существами, обнимающими дома,

прорастающими в них, и у каждого свой облик и норов. Вот легкий, прозрачный балкон, похожий на крыло – сейчас улетит, вот балкон, провисший тяжелым животом обжоры, вот длинный прозрачный балкон с бегущими тонкими ребрами – через всю стену, вот основательный, застекленный, с мутными джунглями комнатных цветов, тазов и ведер, плавающими внутри, вот падающий балкон, подпертый снизу балками и жердями, вот новенький, только что отреставрированный, похожий на буфет, привешенный к стене, а этого чугунного балкона почти не видно – он запутался в кроне огромного цветущего каштана, повис в ней, как гнездо.

Внешние балконы, независимо от новизны и ухоженности, стараются вести себя прилично и следовать моде своего времени: как же, мы все-таки на фасаде, положение обязывает. Зато дворовые балконы – совершенно отвязанные, им сам черт не брат, да это и не балконы уже, а бесконечные галереи, бегущие по этажам, соединенные такими же бесшабашными лестни-

цами – вверх, вниз, по диагонали, вкруговую, винтом.

Но балконы соединены друг с другом не только посредством легкомысленных ступенек, главный способ общения – это бельевые веревки, растущие непонятно откуда, дрожащие, как струны, издающие не звуки, а всплески цвета и ритма. Тамм – тамм – тамм – задумчиво начинают в углу белые футболки, трррррррррррр – пробегают им навстречу детские носочки, пар десять, не меньше, бомм – бомм – вступают два синих полотенца, ла-ла-ла – подхватывают розовые наволочки в цветочек, омммм – долгим вздохом завершает простыня, – и дворик ожил, задвигался, заговорил с тобой, и ты, главное, все понял, закивал, заулыбался. Деревянные переборки балконов и веревки с бельем – это и есть душа тбилисского дворика, а к ней уже может прилепиться все, что угодно – столик с чашками и пепельницей, тазы, горшки, кошки, жаркие всплески розовых кустов, столбы, увитые виноградом, выставленный под лестницу унитаз, из которого растет агава, мальчик, выносящий ме-

шок с мусором, две женщины, болтающие в дверях. Все это части оркестра, листки партитуры, которые разложил перед собою невидимый дирижер.





Грузины все время стирают белье. Столько белья, висящего на веревках, я не видела больше ни в одном городе: частые струны натянуты перед каждым окном, и они никогда не пустуют, чем больше балкон, тем больше покрывал и скатертей свешивается на улицу, в каждом дворе ежедневно объявляется фестиваль современного искусства: цветные квадраты и прямоугольники нарезают пространство на косые сектора, нежная рябь мелкого женского обихода колеблет межбалконное пространство, величественные ряды мужских брюк с вывернутыми карманами, взмыв под крыши, соединяют две стороны улицы, широкие плоскости простыней и пододеяльников рассекают дворы на белые, зеленые, бледно-голубые эпохи.

Ваня стоит в воротах старого дома, нацелив телефон на парящие во дворе пододеяльник, простыню и две наволочки – такого глубокого,

алого, пульсирующего цвета, что просто дух захватывает. Не знаю, что снится людям, лежащим на кровати в этом зареве, – а может, они вообще не спят? Если бы мне удалось заснуть на таком белье, мне бы, наверное, всю ночь снилось “Купание красного коня”.

Под “Железной девой”

Не успел один из наших тбилисских гениев места рассказать нам, что иногда вода в Куре опускается, и обнажаются прибрежные скалы, на которых когда-то давно стояли дома, – как вода взяла и опустилась, да так резко, не иначе, внизу открыли плотину. Вот только что мутные серые водовороты крутились у быков моста, и вдруг маленький дебаркадер у правого берега сел на мель и перекосялся, остро запахло гниющими водорослями, выползли на свет тусклые черные туши скал с кирпичными гребнями древних фундаментов. Время приоткрыло дурно пахнущее нутро – да, столетия назад все было не так, рыжие дома плотно обступали узкую речку, а кто выходил из этих дверей, и как они были одеты, и чем торговали на этом мосту, где теперь кладут новый асфальт – мы так и не успели представить: через пару часов маленький дебаркадер уже стоял на месте, а скользкие

чудовища с призраками на спинах скрылись под бурной водой. Прошлое не любит, чтобы на него смотрели слишком долго.

* * *

Когда мы сидим на кухне, я смотрю в окно, в спину бронзового царя Вахтанга, и в экран телефона, где в калейдоскопе ютьюб-каналов мелькают осколки разбитого “Эха Москвы” и новости “Настоящего времени”. Русские подходят к украинскому городку. Худощавый немолодой мужик обводит глазами зеленый двор, дом, покореженный снарядами – ничего не поделаешь, надо уходить.

– Жалко, – он тяжело вздыхает, мотает головой, морщится, вытирает глаза. Злитесь на свои слезы. – Все родное. Как жалко – эээх! – рубит в сердцах кулаком воздух, – ну, ничего... – Кулак взлетает вверх. – Ничего!

Этот мужик теперь со мной всегда. Не только у российского посольства, к которому мы забрели случайно – узнав его по фотографиям убитых в Буче, цветам и игрушкам. Человек, со слезами покидающий свой город, ходит со мной по здешним улицам, вдыхает запах цветущих акаций, покупает лаваш в неприметном окошке в стене. Оба мы вырваны из своей земли, корешки болтаются в воздухе, но даже сравнивать нечего – насколько ему хуже: его земля разворочена бомбами – а моя еще нет. Но бомбы летят к нему с моей стороны – и тут уже хуже мне: как я посмотрю ему в глаза, если мы встретимся?

* * *

На Петербург невозможно посмотреть сверху. Заоблачные площадки вроде Исаакиевского собора не в счет – это умышленное скалолазание для туристов. Идя по плоскому городу, ты

всегда видишь его на одном уровне, как свою жизнь, из которой невозможно выпрыгнуть и взглянуть на нее со стороны. А если возможно, это значит, ты влюблен и так стремишься стать *другим*, тем, кого любишь, что в редкие минуты это тебе удастся – такие редкие и такие высокие, что на вершине, куда ты вдруг перенесся, кружится голова и перехватывает дыхание. Стать *другим* – это высшая форма счастья.

Мы с Ваней дошли по горячей пологой улице почти до самого верха горы и уперлись в тупик перед диким сооружением – говорят, это дворец, но похож он на кучу стеклянных банок. К счастью, чуть пониже виднеется тропа, и теперь мы с облегчением идем вдоль гребня, минуя и эти банки, и грузинскую Железную Деву с муравьиными ручейками туристов под ногами. Склон утыкан свежими саженцами туи, кипарисов, смоковниц, тоненькие деревца привязаны к бамбуковым колышкам – ясно, с той стороны склона – ботанический сад, это его работники

стараятся, укрепляют почвы, норовящие сорваться оползнями. Когда-нибудь деревца вырастут – но я этого не увижу. Вдоль тропы вспыхивают огоньки мелких маков.

Внизу под горой – город, и мы то и дело останавливаемся, погружая лицо в лиловые лепестки крыш, собранные в крупные гроздья. – Смотри, – говорит Ваня, – вот это, кажется, двор-колодец, а это какая-то большая улица, а вот там золотой блик – площадь Свободы. Мелкие кварталы дышат под нами, рассыпаются кустами махровой сирени, мы зарываемся в них лицом. Гора – это возможность выйти из города, как из собственного тела, и с удивлением посмотреть на него сверху. Жизнь приобретает другой масштаб – будто твой взгляд на долю секунды совместился со взглядом Бога. Город на миг становится тобой, а ты становишься городом, принимая его в себя целиком и навсегда. Именно так, потому что краткий миг на вершине – это и есть – всегда.

“Палки-веники”

Грузинские дороги похожи на грузинские буквы – ни в одних, ни в других не найдешь прямых линий. Нет, конечно, есть новый город с широкими автострадами, стремительный, весь в огнях. В такой я и въехала с облегчением две недели назад после ночной Военно-Грузинской дороги, радуясь, что слева нет угрожающего мутного ледника, справа – невидимой пропасти, на краю которой скучает на боку длинная фура, и что крошащийся асфальт на повороте не прикидывается стеной или черным небом, и что поворот – это просто поворот, а не петля куда-то назад и вниз или, наоборот, вверх.

Но все-таки дело именно в петлях – петли, а не углы создают ткань старых тбилисских улочек, из петель, а не углов соткан грузинский алфавит. Сквозь автостраду – спасибо ей – ты пролетаешь, скользя, как нож в масле, ни ее мощь, ни шум, ни гранатовые огни габаритов не

могут тебя удержать. Из мелких улочек тебе не выбраться, как из вязаной кофты, закрутившейся вокруг тела буйными складками – где верх, где низ, где рукава, и вообще, кто тут колдовал блестящими спицами, нанизывая повороты, ступеньки, круглые деревянные балконы, лестницы брусчатки цвета синей сливы с сединой?

Самые густые петли – в бывшем еврейском квартале Бетлеми. Улицами это назвать трудно – крутые многоступенчатые подъемы и спуски, многогранники домов, поработанных глазастыми балконами, растущими во все стороны, выпускающими чуткие усики лестниц. Лестницы – невесомы: плавными зигзагами взлетают с балкона на балкон, косыми строчками прозрачного текста – вверх, мимо кирпичного куба ассирийского храма (как же, и огнепоклонники успели отметиться), еще выше, к нижней церкви Бетлеме, и еще выше – к верхней.

Но до нее мы доходим не сразу. Сначала долго стоим, замороженные ступеньками, по-

крашенными во все цвета радуги: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый шаги ведут на длинный балкон – каждый охотник желает знать, где сидит фазан – и опять, подряд и в разбивку – желтый, зеленый, красный, фиолетовый, и вечернее солнце с такой готовностью взбегаёт по этим ступенькам, так старательно держится за цветные перила, как будто оно – младшее дитя в доме и радуется, что научилось ходить.

Еще одна лесенка упирается в плоскую крышу, на которой картинно разлеглись три кота: рыжий, серый и пятнистый. Еще одна – узкая, как позвоночник с перебитыми позвонками, приводит в тупик – к строящейся бетонной коробочке, куче камней и строительного мусора, на которой повис карликовый ярко-желтый бульдозер. Слева от лестницы разбит на плоской террасе огород – пожилая женщина поливает из шланга грядки с хилым еще салатом и зеленым луком; видя наш интерес, машет рукой и

кивает. За ее спиной сидит другая женщина, играя с годовалым ребенком, стоящим между ее колен. Льется вода, нежно зеленеет салат, взлетает голос, повторяющий на непонятном языке детские припевки, крошатся ступеньки под ногами.

К верхнему храму нас приводит другая лестница, новая и широкая. Тут хорошо – как будто снял, наконец, жаркую кофту, с которой так долго боролся: подъемы и спуски кончились, дальше только скала. Из-за угла храма медленно выходит старая черная собака; кот, шедший по своим делам, ныряет под скамейку, за старый цинковый тазик, и, выглядывая оттуда, напряженно следит за действиями извечного врага. Врагу не до кота – ему бы донести грузное тело до площадки перед скамейкой и улечься, как это умеют делать грузинские собаки – вытянувшись поперек дороги в позе полной отведенности.

По синеватой брусчатке поднимается худой человек с седым ежиком на голове, в руках у него веники и швабры без щетины – чтобы наматывать тряпку. Через каждые несколько шагов он что-то громко кричит по-грузински, временами сворачивает во двор, и тогда короткая призывная фраза доносится оттуда. Я вспоминаю Пыляева – “точу ножи-ножницы” и “халат-халат” – это явно отставший воин из древней армии разносчиков, старьевщиков, уличных торговцев. В петербургских дворах ее отряды давно растворились, а по тбилисским еще проплывает заблудившийся арьергард. Человек выходит из двора, от гулкой арки отскакивает: “Палки-веники!” – это Саша Сватиков потом рассказал нам, что он кричит. Ни палок, ни веников в руках меньше не стало, но человек, опустив голову, все поднимается и поднимается по жаркой улице, как партизан, которому никто не сказал, что война давно закончилась.

Обнять упавшего

И еще одну тайну раскрыл нам Саша Сватиков: оказывается, чарующее “чинар”, впервые встреченное, наверное, у Пушкина, это платан – тот самый, раскидистый, с тонкой кожицей, облезающей, будто после загара. Огромные чинары – слово во рту, как глоток вина – поднимаются по бульвару к нашей любимой булочной с черным хлебом, чинарами обсажены берега Куры и маленькая Хлебная площадь с круглой деревянной скамейкой посередине. Теперь, когда я знаю, что платан – это и есть чинар, моя старинная нежность к нему возросла вдвое.

Помню, больше всего удивили меня когда-то платаны в Лондоне – странно было видеть их гладкие пятнистые тела на улицах “вечно промозглого” города, на самом деле оказавшегося довольно жарким – так растаял в моей голове миф о туманном Альбионе – явно не более туманном, чем Петербург. Но здесь, в Тбилиси, чи-

нары-платаны – точно дома, и это не приправа, не гарнир к архитектуре, а стержень, на котором держатся небольшие двухэтажные особнячки с наивным декором, иногда почти достигающим изящества платанового листа.

* * *

Я уже давно поймала себя на том, что отношусь к старым домам, как к людям. Новые, особенно большие, многоквартирные, почти все – немножко роботы, клоны, с комфортабельными бараками этажей, поставленными один на другой. На лице у старого дома отражается все – погода, настроение, болячки, капризы богатого заказчика, скромность или тщеславие архитектора, счастье или несчастье хозяев. Я радуюсь немногим отреставрированным, вылизанным тбилисским особнячкам, но, честно говоря, не вылизанные мне милее. Все эти пыльные карнизы, выцветшая штукатурка, осыпающаяся

лепнина, резные некрашенные двери, слуховые окна с разбитыми стеклами – неповторимые черты родного лица. Именно так, все лица этих невеликих фасадов кажутся мне родными, не знаю, почему. Конечно, покрасить бы, оштукатурить, отлить заново лепные львиные морды и цветочные гирлянды, и все бы заиграло, как новенькое, но мне всегда хочется спросить – а хотели бы вы, чтобы ваша бабушка, читавшая вам на диване у торшера сказку про Айболита, сделала подтяжку и повернула к вам гладкое помолодевшее лицо? Вот то-то и оно.

Но благородная бедность, роднящая тифлисские улицы с римскими, это одно, а зияющая нищета – другое. Нет ни одной улочки, где бы не попало одного, двух трех домиков с рассевшимися стенами, обрушенной крышей, слепыми окнами, полными равнодушных небес. Вот по стене пошла страшная трещина, вот перекосился карниз, осыпались кирпичи, входная дверь провалилась, как нос сифилитика, из окна

проросла маленькая смоковница. Это катастрофа. У меня сжимается сердце. Мне хочется обнять упавшего, подпереть крышу, поднять съехавший на бок балкон, сесть рядом, как с Иовом на гноище, и плакать вместе с ним, и расспрашивать о его прошедшей жизни, и кивать, и восторгаться, и утешать – ничего, все еще поправится, кирпичи можно собрать, балки заменить, крышу перекрыть. Где-то и правда можно – а где-то в пустых окнах уже сквозит отрешенность смерти, и нимфы, разбежавшиеся из-под фриза, уже никогда не соберутся в прежнем загадочном танце.

Смотреть на умирающие дома больно – Господи, сколько же их, и за этим поворотом, и за тем, хочется опустить голову и побыстрее пройти мимо, но я не могу, остатки погибающей красоты притягивают взгляд, оконные надбровные дуги, рассыпавшиеся гипсовые виноградники цепляются за меня в надежде на сочувствие и память. И я изо всех сил запоминаю каждый

пилястр, каждую арку, бормоча беспомощную молитву – чтобы их как-нибудь спасли, восстановили, склеили, как разбитую чашку, чтобы чья-то жадность не поспешила вымести этот кирпичный лом и поставить на его месте лупоглазую стекляшку или уродца из пенобетона, со стеклопакетами в бесстыдной блевотине монтажной пены. Бродский как-то заметил, что Ле Корбюзье разрушил европейские города почище бомбардировщиков Люфтваффе – но он еще не видел деловитых выдувателей бетонных пузырей, охотников за дешевыми погонными метрами, ради которых стираются с улиц милые старые особнячки – так легко, как хозяйка смахивает тряпкой хлебные крошки.